



Дик Фрэнсис
РЕФЛЕКС
ЗМЕИ

Оглавление

[Глава 1](#)

[Глава 2](#)

[Глава 3](#)

[Глава 4](#)

[Глава 5](#)

[Глава 6](#)

[Глава 7](#)

[Глава 8](#)

[Глава 9](#)

[Глава 10](#)

[Глава 11](#)

[Глава 12](#)

[Глава 13](#)

[Глава 14](#)

[Глава 15](#)

[Глава 16](#)

[Глава 17](#)

[Глава 18](#)

[Глава 19](#)

[Глава 20](#)

[Глава 21](#)

РЕФЛЕКС ЗМЕИ



Dick Francis

REFLEX

Copyright © 1980 by Dick Francis

This edition is published by arrangement Johnson & Alcock Ltd.
and The Van Lear Agency

All rights reserved

Перевод с английского Наталии Некрасовой

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

Фрэнсис Д.

Рефлекс змеи : роман / Дик Фрэнсис ; пер. с англ. Н. Некрасовой. — М. :
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022.

ISBN 978-5-389-21207-7

16+

Дик Фрэнсис (1920–2010) — один из самых именитых английских авторов, писавших в жанре детектива. За свою жизнь он создал более 30 бестселлеров, получивших международное признание. Его романы посвящены преимущественно миру скачек — Фрэнсис знал его не понаслышке, ведь он родился в семье жокея и сам был знаменитым жокеем. Этот мир полон азарта, здесь кипят нешуточные страсти вокруг великолепных лошадей и крупных ставок в тотализаторах, здесь есть чем поживиться мошенникам. Все это и послужило материалом для увлекательных романов, ставших бестселлерами во многих странах мира.

© Н. В. Некрасова, перевод, 1999

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство Иностранка®

ГЛАВА 1

Задыхаясь и кашляя, я лежал, опираясь на локоть, и отплевывался от забившей рот травы и земли. Придавившая мне ногу лошадь кое-как поднялась и унеслась прочь бешеным галопом. Я подождал, пока внутри все успокоится, — я кувыркнулся с лошади, несущейся со скоростью тридцать миль в час, да еще несколько раз перевернулся в воздухе. Ничего, жив. Кости целы. Просто очередной раз полетел.

Время и место действия: шестнадцатое препятствие, трехмильный стипль-чез, ипподром в Сандауне. Пятница, ноябрь, мелкий, холодный, нудный дождь. Отдышавшись и собравшись с силами, я кое-как встал на ноги. В голове неотвязно крутилась мысль, что взрослому мужчине так жить нельзя.

Эта мысль меня ошарашила. Раньше мне в голову ничего подобного не приходило. Я не знал другого способа зарабатывать себе на хлеб, кроме как скакать на лошади и брать препятствия, а это такая работа, которой нужно отдавать всю душу. Холодное разочарование отозвалось дергающим приступом зубной боли, нежданной и нежеланной, предвещающая беспокойство и неприятности.

Я без особых волнений подавил это чувство. Уверил себя в том, что люблю и всегда любил такую жизнь — а как же иначе. Что все путем — за исключением этой погоды, этого падения, этих проигранных скачек... Мелочи жизни, каждодневная рутина, обычное дело.

Я пошлепал по грязи вверх по холму к трибунам в тонких, как бумага, скаковых сапогах, совершенно не годных для ходьбы. Все мои мысли неотвязно крутились вокруг лошади, на которой я стартовал. Я все думал, что мне сказать и чего не надо говорить ее тренеру.

Отказался от: «Какого черта вы ожидали, что жеребец прыгнет, если как следует его не натаскали?» — ради: «Ему бы побольше опыта». Думал было высказаться насчет этой «никчемной, трусливой, тупой, недокормленной скотины», но передумал и решил сказать, что надо будет попробовать его в шорах. Тренер все равно устроит мне разнос за падение и скажет хозяину, что я не так повел лошадь к препятствию. Он был как раз из того типа людей, для которых жокей всегда виноват.

Я смиренно возблагодарил небеса за то, что нечасто езжу на лошадях из этой конюшни и сегодня меня взяли только потому, что Стив Миллес, их жокей, был на похоронах — у него умер отец. Если нужны деньги, от скачек просто так не отказываются. Или если тебе нужно имя, чтобы все знали, какой ты полезный и необходимый и что ты вообще есть на свете.

Единственной приятной вещью во время моего падения у препятствия было то, что папаши Стива Миллеса тут не было и он этого не заснял. Он был безжалостным фотографом и фиксировал как раз те моменты, которые жокеи предпочли бы забыть. Все это хранилось у него в коробочке и, вероятно, в настоящий момент укладывалось на вечный покой вместе с ним. «Туда им и дорога», — неласково подумал я. Конец гаденьким довольным смешкам, с которыми Джордж показывал хозяевам лошадей неопровержимые доказательства неудач их жокеев. Конец и автоматической камере, что со скоростью три с половиной кадра в секунду подлавливает где ни попадя, как кто-то теряет равновесие, машет руками, летя в воздухе, и падает носом в грязь.

В то время как прочие спортивные фотографы играют честно и время от времени снимают твои победы, Джордж снимал исключительно позорные и унижительные моменты. Джордж был прирожденным

губителем чужих карьер. Может, газеты и станут горевать о том, что больше не видать им его развеселеньких фоток, но, когда Стив сказал в тот день в раздевалке, что его папаша врезался в дерево, мало кто огорчился.

Но, поскольку самого Стива любили, никто особо не высказывался. Стив, однако, услышал молчание и понял, что за этим молчанием стоит. Он годами отчаянно защищал своего отца и потому все понимал.

Я шел под дождем, волоча ноги, и думал — странно, что мы действительно больше не увидим Джорджа Миллеса. Его слишком давно знакомая и слишком привычная физиономия четко возникла у меня в памяти — яркие умные глаза, длинный нос, висячие усы, рот кривится в язвительной усмешечке. Следует признать, что это был потрясающий фотограф, с исключительным чутьем и умением подловить момент. Его объектив всегда был направлен в нужное мгновение в нужную сторону. Юмор у него был своеобразный — недели не прошло еще, как он показывал мне черно-белую гляцевую фотку, когда я спикировал с лошади — носом в грязь, задница кверху, а на обороте надпись: «Филип Нор, коленками назад». Может, кому и было бы смешно — да уж больно злобным был юмор. Может, кто и потерпел бы такое унижение, но злоба прямо-таки перла из его взгляда. В душе он был гадом, затаившимся, выжидавшим, как бы с глумливым хихиканьем ударить побольнее. Слава богу, что он помер.

Когда я наконец-то дошел до весовой и спрятался от дождя, тренер и хозяин лошади уже ждали меня. На их физиономиях была написана готовность порвать меня в клочья. Чего и следовало ожидать.

— Ну, напортачил? — злобно сказал тренер.

— Он слишком рано пошел на препятствие.

— Это твоя работа вести его.

Что толку говорить, что ни один жокей на свете никогда не сможет заставить ни одну лошадь все время прыгать без ошибки, и, уж конечно, не плохо выезженную трусливую скотину. Я просто кивнул и с легким сожалением усмехнулся хозяину.

— Попробуйте его в шорах, — сказал я.

— Это мне решать, — отрезал тренер.

— Цел? — сочувственно спросил хозяин.

Я кивнул. Тренер тут же бесцеремонно придушил этот гуманный порыв сочувствия к жокею и повел свою дойную коровку в сторону — не дай бог, я проговорюсь и скажу правду насчет того, почему лошадь не прыгнула, когда ее заставляли. Я без всякой злобы посмотрел им вслед и пошел к двери весовой.

— Эй, — какой-то молодой человек шагнул мне навстречу, — это вы Филип Нор?

— Верно.

— Мм... могу я переговорить с вами?

Ему было лет двадцать пять. Долговязый, словно аист, серьезный, бледнокожий, как конторский служащий. Черный фланелевый костюм, полосатый галстук. При нем не было бинокля, и вообще похоже было, что он не имеет никакого отношения к скачкам.

— Можете, — ответил я. — Если подождете, пока я схожу к доктору и переоденусь в сухое.

— Доктору? — спросил он с встревоженным видом.

— А, обычная проверка. После падения. Это недолго.

Когда я снова вышел, согретый и в уличной одежде, он все еще ждал меня. Он был у паддока почти один — все пошли смотреть последний заезд.

— Я... ну... меня зовут Джереми Фолк. — Он извлек откуда-то из черного пиджака карточку и протянул ее мне. Я взял ее и прочел: «Фолк, Лэнгли-сын и Фолк».

Адвокаты. Адрес в Сент-Олбансе, Хартфордшир.

— В смысле, последний Фолк, — застенчиво указал Джереми, — это я и есть.

— Поздравляю, — ответил я.

Он одарил меня нервной полуулыбкой и прокашлялся.

— Меня послали... ну... я пришел попросить вас... ну...

— Он беспомощно замолк. Вид у него был совсем не адвокатский.

— Ну, заканчивайте, — сказал я.

— Попросить вас прийти к вашей бабушке, — нервно выпалил он. Казалось, у него груз спал с плеч.

— Нет, — ответил я.

Он изучающе посмотрел мне в лицо и, казалось, приободрился от моего спокойного вида.

— Она умирает, — сказал он. — И хочет вас видеть.

«Всюду смерть, — подумал я. — Джордж Миллес и мать моей матери. И в обоих случаях ничуть не жалко».

— Вы поняли? — спросил он.

— Понял.

— И как? В смысле, сегодня?

— Нет, — сказал я. — Не пойду.

— Но вы должны! — Вид у него был обеспокоенный. — В смысле... она старая... умирает... она хочет видеть вас...

— Беда какая.

— И если я не смогу убедить вас, мой дядя... в смысле, «сын»... — Он снова показал карточку, все сильнее волнуясь. — Ну... Фолк — это мой дедушка, а Лэнгли — двоюродный дедушка, и... ну... они послали меня... — Он сглотнул. — Честно говоря, они думают, что я совершенно бесполезен.

— Это уже шантаж, — сказал я.

Легкий блеск в его глазах сказал мне, что он на самом деле не так глуп, как изображал.

— Не хочу я ее видеть, — сказал я.

— Но она же умирает.

— А вы сами видели, что она умирает?

— Ну... нет...

— Готов поспорить, что она вовсе не умирает. Если ей хочется меня увидеть, то она точно заявит, что умирает, поскольку знает, что иначе я к ней не приду.

Вид у него был ошарашенный.

— Но ей же, в конце концов, семьдесят восемь.

Я мрачно глянул на непрекращающийся дождь. Я никогда не навещал свою бабушку и не желал ее видеть, умирала она там или нет. Знаю я эти предсмертные раскаяния, эти попытки застраховаться в последнюю минуту на пороге адских врат. Слишком поздно.

— Ответ прежний, — ответил я. — Нет.

Он удрученно пожал плечами и уже готов был сдаться. Вышел на дождь — с непокрытой головой, беззащитный, без зонтика. Через десять шагов обернулся и снова осторожно подошел ко мне:

— Послушайте... вы на самом деле ей нужны, так говорит мой дядя. — Он был так искренен, так настойчив, прямо-таки миссионер. — Вы же не можете вот так просто дать ей умереть.

— Где она? — спросил я.

Он просиял:

— В частной лечебнице. — Он порылся в другом кармане. — Тут у меня адрес. Но, если вы идете, я провожу вас прямо туда. Это в Сент-Олбансе. Вы живете в Ламборне, так? Значит, это не так уж и далеко от вас, правда? В смысле, не за сотни миль или что-нибудь в таком роде.

— Добрых полсотни, думаю.

— Ну... в смысле... вам же всегда приходится ездить жутко много.

Я вздохнул. Хрен редьки не слаще. Либо покорно сдаться, либо быть твердым как скала. И то и другое дрянь. Бабушка выбивала из меня упрямство с самого рождения, но это, по-моему, не извиняло меня сейчас, когда она умирает. Да и как я могу презирать ее, как делал в течение долгих лет, если поведу себя как она.

Неприятно.

Зимний день уже угасал, электрические фонари разгорались с каждой минутой все ярче, расплывчато просвечивая сквозь дождь. Я подумал о своем пустом доме, о том, что вечер будет заполнить нечем, о двух яйцах, ломте сыра и черном кофе на ужин, о том, что захочу съесть еще что-нибудь и не съем. «Если я пойду, — подумал я, — то, по крайней мере, не буду думать о еде, и это поможет мне в моей постоянной борьбе с весом, а значит, будет не так уж и плохо. Даже если и придется встретиться с бабкой».

— Ладно, — покорно сказал я, — ведите.

Старуха сидела в кровати, выпрямив спину, и жестко смотрела на меня. Если она и собиралась умереть, то уж точно не сегодня вечером. Темные глаза были полны жизни, и в голосе не слышалось смертной слабости.

— Филип, — жестко сказала она и оглядела меня с головы до ног.

— Я.

— Ха.

Она прямо-таки выплюнула это «ха», одновременно торжествующе и презрительно — этого я и ожидал. Ее крутой нрав лишил меня детства и причинил еще большее зло ее собственной дочери. Я с облегчением увидел, что тут не придется выслушивать плаксивых просьб о прощении. Мы по-прежнему, пусть и не так ярко выражено, терпеть не могли друг друга.

— Я знала, что ты прибежишь, — сказала она с неистребимой холодной глумливостью, — когда услышишь о деньгах.

— Какие еще деньги?

— Сто тысяч фунтов, естественно.

— Никто, — сказал я, — не говорил мне ни о каких деньгах.

— Не ври! С чего же еще тебе приходиться?

— Мне сказали, что вы умираете.

Она удивленно и злобно зыркнула на меня и осклабилась. Видимо, это должно было изображать улыбку.

— Да. Как и все мы.

— Да, — сказал я, — и с одной и той же скоростью. День за днем.

Она вовсе не походила на розовощекую милую бабушку. Сильное упрямое лицо с глубокими резкими брезгливыми складками у рта. Серо-стальные, до сих пор густые чистые волосы были аккуратно уложены. Бледная кожа усыпана старческими веснушками, темные вены выступали на внутренней стороне рук. Худая, почти тощая женщина. И высокая, насколько я мог судить.

Большая комната, где она лежала, походила скорее на гостиную, в которой поставили кровать, а не на больничную палату. Это очень даже вязалось с тем, что я видел здесь по пути. Сельский дом, приспособленный для новых целей, — отель с сиделками. Всюду ковры, длинные шторы из чинтца¹, кресла для посетителей, вазы с цветами. «Хорошо так умирать», — подумал я.

— Я проинструктировала мистера Фолка, — сказала она, — чтобы он сделал тебе предложение.

Я задумался:

— Молодой мистер Фолк? Лет двадцати пяти? Джереми?

— Конечно нет, — нетерпеливо сказала она. — Мистер Фолк, мой адвокат. Я сказала ему, чтобы он доставил тебя сюда. Что он и сделал. Ты здесь.

Я отвернулся от нее и без приглашения сел в кресло. «Почему Джереми не упомянул о ста тысячах фунтов? — подумал я. — Если это, в конце концов, какой-то подвох, то такое легко не забывают».

Моя бабка злобно уставилась на меня, и я ответил ей таким же взглядом. Мне не понравилась ее уверенность

в том, что она может меня купить. Меня отталкивало ее презрение, и я не верил ее намерениям.

— Я завещаю тебе сто тысяч фунтов, но на определенных условиях, — сказала она.

— Нет, — ответил я.

— Извиняюсь, что? — Ледяной голос, каменное лицо.

— Я сказал, нет. Никаких денег. Никаких условий.

— Ты не слышал моего предложения.

Я ничего не сказал. На самом-то деле меня начало разбирать любопытство, но я совершенно не собирался ей этого показывать. Поскольку она явно не торопилась, молчание затянулось. Похоже, прокручивала в голове возможные варианты. Я же просто ждал. Я мог делать это бесконечно долго. Мое бессистемное воспитание привило мне эту способность: ждать людей, которые не приходили, обещаний, которые не выполнялись.

Наконец она сказала:

— Ты выше, чем я думала. И упрямее.

Я еще помолчал.

— Где твоя мать? — спросила она.

Моя мать, ее дочь.

— Ветром развеяло, — ответил я.

— Что ты имеешь в виду?

— Думаю, она умерла.

— «Думаю»! — скорее раздраженно, чем обеспокоенно сказала она. — Ты что, не знаешь?

— Она не писала мне, что умерла, потому и не знаю.

— Твоя дерзость просто непристойна!

— Ваше поведение еще до моего рождения, — сказал я, — не дает вам права так говорить.

Она заморгала. Раскрыла рот да так и сидела несколько секунд. Затем плотно закрыла его. На челюстях вздулись желваки, и она мрачно уставилась на меня с устрашающей смесью ярости и злобы. И по этому выражению я понял, что пришлось вытерпеть моей бедной юной матери, и ощутил прилив огромного

сочувствия к той беспечной бабочке, что родила меня.

Как-то раз, когда я был еще совсем маленьким, меня одели в новый костюмчик и велели вести себя очень хорошо, поскольку мы с мамой идем к бабушке. Моя мать забрала меня оттуда, где я жил, и мы поехали на машине к большому дому, где меня оставили одного в холле ждать. Из-за закрытой белой крашеной двери доносился крик. Затем с плачем вышла моя мать и за руку потащила меня в машину.

— Идем, Филип. Мы никогда ни о чем больше не будем ее просить. Никогда не забывай, что твоя бабка — злобная тварь!

Я не забыл. Я редко думал об этом, но я до сих пор ясно помню, как сидел на стуле в холле, не доставая ногами до пола, и ждал в жестком новом костюмчике, слушая крики за дверью.

Я никогда по-настоящему не жил с матерью, разве что время от времени выпадала одна-другая мучительная неделя. У нас не было ни дома, ни адреса, ни постоянного пристанища. Она никогда не сидела на месте, потому всегда решала проблему — куда меня девать — весьма просто: спихивала меня на разное время по очереди своим многочисленным друзьям. Это, конечно, было для них как снег на голову, но они, как я теперь понимаю, были чрезвычайно терпеливыми людьми.

— Присмотри за Филипом несколько дней, дорогая, — говорила она, подталкивая меня к очередной чужой леди. — Жизнь сейчас такая невыносимо суматошная, и я прямо ума не приложу, что с ним делать, ты же знаешь, каково это, потому, дорогая Дебора (или Миранда, или Хлоя, или Саманта, или кто еще), будь лапочкой, я заберу его в субботу, честное слово! — Чаше всего она звучно чмокала дорогую Дебору, или Миранду, или Хлою, или Саманту и убегала, помахав ручкой, вся в ореоле веселья.

Приходила суббота, а моя мама... Нет, но в конце концов она всегда возвращалась, полная беспечности и смеха, рассыпаясь в благодарностях, и забирала, так скажем, свои вещи из камеры хранения. Я мог оставаться на складе дни, недели или месяцы: я никогда не знал, когда она приедет, как, подозреваю, и мои гостеприимные хозяева. Думаю, она по большей части платила какие-то деньги за мое содержание, но все как бы в шутку.

Даже мне она казалась очень хорошенькой. Причем была она настолько хорошенькой, что ее обнимали, ей потакали и прямо-таки пьянели в ее присутствии. Только потом, когда их оставляли буквально с ребенком на руках, они начинали сомневаться. Я стал запуганным молчаливым ребенком, который в постоянном напряжении ходил на цыпочках, стараясь никого не побеспокоить, все время боясь, что однажды меня насовсем выставят на улицу.

Оглядываясь назад, я понимаю, что я очень многим обязан Саманте, Деборе, Хлое и прочим. Я никогда не голодал, меня никогда не шпыняли и никогда, в конце концов, не отталкивали совсем. Случайные люди давали мне приют два или три раза, иногда радостно, но по большей части смирившись с судьбой. Когда мне было года три или четыре, кто-то длинноволосый, в браслетах и туземном халате, научил меня читать и писать, но я никогда подолгу нигде не жил, чтобы меня можно было официально отправить в школу. Это было странное, бестолковое, лишенное почвы существование, которое закончилось лет в двенадцать, когда меня отвезли в первое мое долговременное жилище, — тогда я умел выполнять почти всю работу по дому, но не умел любить.

Она оставила меня у двух фотографов, Данкена и Чарли. Поставила в большой фотостудии с голым полом, проявочной, ванной, одной-единственной конфоркой и

кроватью за занавеской.

— Милые, присмотрите за ним до субботы, овечки мои... — И хотя я получал поздравительные открытки с днем рождения, подарки на Рождество, ее самой я не видел три года. Затем, когда Данкен уехал, она однажды вдруг влетела в дом, забрала меня у Чарли и отвезла к знакомому, который готовил лошадей для скачек, и его жене в Хэмпшир и заявила своим обалдевшим друзьям:

— Это только до субботы, милые, ему пятнадцать, он мальчик крепкий, он вам навоз чистить будет и все такое...

Еще пару лет или около того приходили открытки, всегда без адреса, так что я и ответить не мог. На мой девятнадцатый день рождения открытки не было, а затем на Рождество не было подарка, и больше я о ней ничего не слышал.

Она, наверное, умерла от наркотиков. Она сильно кололась, как я понял, когда вырос и разобрался в этом деле.

Старуха пялилась на меня с другого конца комнаты, как всегда, неумолимо и сердито, все еще злясь на мои слова.

— Ты мало чего добьешься от меня, если будешь так разговаривать, — сказала она.

— А мне ничего и не надо. — Я встал. — Зря я пришел. Если вы хотели отыскать дочь, то вам следовало начать делать это двадцать лет назад. А что до меня... я не стал бы ее искать ради вас, даже если бы мог.

— Я не хочу, чтобы ты искал Каролину. Думаю, ты прав насчет того, что она умерла. — Эта мысль явно не вызывала у нее скорби. — Я хочу, чтобы ты разыскал свою сестру.

— Мою... кого?

Злые темные глаза пронизательно и оценивающе уставились на меня.

— Ты не знал, что у тебя есть сестра? Ну так теперь знаешь. Я завещаю тебе сто тысяч фунтов, если ты разыщешь ее и привезешь ко мне. И не думай, — едко заметила она, прежде чем я успел что-либо сказать, — что сумеешь подсунуть мне какую-нибудь маленькую самозванку и я ей поверю. Я стара, но далеко не дура. Тебе придется доказать мистеру Фолку, что девочка — моя внучка. А мистера Фолка трудно убедить.

Я едва слышал эти ядовитые слова — слишком сильным было потрясение. Ведь я был один, единственный отпрыск этой бабочки. Я ощутил беспричинный, но болезненный укол ревности, оттого что у нее был другой ребенок. Она была только моя, а теперь мне придется делить ее с кем-то, думать о ней по-другому. В смятении я подумал, что в тридцать лет нелепо переживать по этому поводу.

— Ну? — резко спросила моя бабка.

— Нет, — ответил я.

— Это же куча денег, — отрезала она.

— Когда они у тебя есть.

Она снова взбесилась:

— Наглец!

— О да. Ладно, если это все, я пошел. — Я повернулся и направился к двери.

— Пстой, — торопливо сказала она. — Ты даже не хочешь посмотреть на ее фотографию? Там, на комод, фото твоей сестры.

Я глянул через плечо и увидел, как она кивнула на комод в противоположном углу комнаты. Наверное, она заметила, как моя рука чуть задержалась на дверной ручке, поскольку сказала уже более доверительно:

— Ты просто посмотри на нее. Почему бы не посмотреть?

Я, вообще-то, не слишком этого хотел, меня просто подтолкнуло мое непреодолимое любопытство, и я подошел к комоду и посмотрел. Там лежал

моментальный снимок, обычная фотография из семейного альбома размером с почтовую карточку. Я взял ее и повернул к свету.

Маленькая девочка лет трех-четырех, верхом на пони.

Ребенок с темно-каштановыми волосами до плеч в красно-белой полосатой футболке и джинсах. Обычный серый валлийский пони с чистой с виду сбруей. Их явно сняли во дворе у денников. Вид у обоих был довольный и сытый, но фотограф стоял слишком далеко, чтобы детское личико было видно в деталях. Может, увеличение немного поможет.

Я перевернул снимок, но на обратной стороне не было написано ничего, что помогло бы понять, откуда ее прислали или кто снимал.

Со смутным разочарованием я снова положил ее на комод и увидел, вздрогнув от тоски по прошлому, лежавший рядом конверт, надписанный рукой моей матери. Письмо было адресовано бабке, миссис Лавинии Нор, в старом доме в Нортгемптоншире, где мне тогда пришлось ждать в холле.

В конверте лежало письмо.

— Что ты делаешь? — в тревоге спросила моя бабка.

— Читаю письмо матери.

— Но я... Почему оно здесь? Положи его сейчас же! Я думала, оно в ящике.

Я не слушал ее. Почерк моей матери — с завитушками, экстравагантный, экстравертный — так ярко всплыл у меня в памяти, что мне показалось, что она здесь, в комнате, болтает без умолку, чуть ли не смеясь, и, как всегда, просит помочь.

Но это письмо, датированное только вторым октября, отнюдь не было веселым.

Дорогая мама!

Я знаю, что сказала, что никогда и ни о чем не буду снова тебя просить. Но я хочу попытаться еще раз,

поскольку я, дура, все еще надеюсь, что однажды ты изменишь свое решение. Я посылаю тебе фото моей дочери Аманды, твоей внучки. Она очень миленькая и хорошенькая. Ей сейчас три года, ей нужен настоящий дом, ей нужно ходить в школу и все такое. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы рядом с тобой были дети, но, если ты просто дашь ей пособие или даже сделаешь для нее что-нибудь ради бога, она сможет жить у совершенно по-ангельски добрых людей, которые ее любят и хотят оставить у себя, но просто не в силах сделать все для еще одного ребенка, поскольку у них уже своих трое. Если ты будешь регулярно переводить сколько-нибудь денег на их счет, то ты этого даже и не заметишь. А твоя внучка будет воспитываться в счастливом доме. А я не могу ей этого дать и потому в таком отчаянии, что пишу тебе.

У нее другой отец, не тот же, что у Филипа, и ты не можешь ненавидеть ее по той же самой причине, и, если бы ты увидела ее, ты бы ее полюбила. Но даже если ты не захочешь ее видеть, то, пожалуйста, мама, позаботься о ней. Надеюсь вскоре получить от тебя весточку. Пожалуйста, пожалуйста, мама, ответь на это письмо.

*Твоя дочь,
Каролина*

*Написано в Пайн-Вудз-Лодж,
Миндл-Бридж, Суссекс.*

Я поднял взгляд и посмотрел на упрямую старуху:

— Когда она это написала?

— Много лет назад.

— И вы не ответили, — без обиняков сказал я.

— Нет.

Я подумал, что глупо гневаться по поводу такой давней трагедии. Я посмотрел на конверт, чтобы

определить дату письма по печати, но она была стертой и неразборчивой. «Сколько же, — подумал я, — она ждала в Пайн-Вудз-Лодж в надежде, тревоге и отчаянии...» Конечно же, «отчаяние» в отношении моей матери было самым подходящим словом. Отчаяние было в ее смехе и простертых руках — и Господь (или Дебора, или Саманта, или Хлоя) не оставлял ее без ответа. Отчаяние не сделало ее ни мрачной, ни выносливой — но каким же глубоким оно должно было быть, чтобы заставить просить о помощи ее мать.

Я положил письмо, конверт и фотографию в карман пиджака. Мне было гадко, что старуха хранила их все эти годы, отвергая их мольбы, и я смутно ощущал, что они принадлежат мне, а не ей.

— Итак, ты это сделаешь, — сказала она.

— Нет.

— Но ты же взял фотографию.

— Да.

— И тогда?

— Если вы хотите найти Аманду, вам надо нанять частного детектива.

— Уже, — нетерпеливо сказала она. — Конечно же, я нанимала. Троих. И все без толку.

— Если уже трое потерпели неудачу, то ее не найти, — сказал я. — Я ничем не смогу помочь.

— Ну, тут есть стимул получше, — торжествующе сказала она. — За такие деньги ты в лепешку разобьешься!

— Ошибаетесь. — Я с горечью посмотрел на нее через комнату. Она без улыбки ответила мне взглядом со своего усыпанного подушками ложа. — Если я возьму от вас хоть какие-то деньги, меня стошнит.

Я пошел к двери и на сей раз открыл ее, не мешкая.

— Эти деньги получит Аманда, — сказала она мне в спину, — если ты найдешь ее.

¹ Плотная хлопчатобумажная декоративная ткань.

ГЛАВА 2

Когда я на другой день снова приехал в Сандаун, письмо и фотография все еще лежали у меня в кармане, однако эмоции уже улеглись. Я был способен думать о своей неизвестной сводной сестре без детской злости. Еще один фрагмент прошлого встал на свое место. Но сейчас всеобщее внимание привлекало настоящее в лице Стива Миллеса. Он появился в раздевалке за полтора часа до первого заезда, весь запыхавшийся, с бисеринками мелкого дождя в волосах и праведным гневом в глазах. Он сказал, что дом его матери ограбили, когда все они были на похоронах отца. Мы, полупереодетые для скачек, так и замерли, ошеломленно слушая его. Я окинул взглядом эту сцену — жокеи во всех стадиях одевания, кто в кальсонах, с голой грудью, кто уже в костюме, натягивает нейлоновые брюки в обтяжку и сапоги. Все, застыв, с открытым ртом уставились на Стива. Почти автоматически я достал свой «Никон» и сделал пару снимков. Они все так привыкли к тому, что я снимаю, что никто не обратил на меня внимания.

— Это просто страшно, — говорил Стив. — Омерзительно. Мама испекла немного печенья и всякого такого прочего для тетушек и других родственников к нашему возвращению с кремации. И все это было разбросано, растоптано, размазано по стенам и по ковру. А на кухне было еще хуже... в ванной тоже... словно шайка малолетних психов бесилась по всему дому и гадила, как могла. Только вот это были не дети... Полицейские говорят, что дети не украли бы того, что у нас взяли.

— У твоей матери что, куча драгоценностей? — поддел кто-то.

Кое-кто из ребят рассмеялся, и первое напряжение улеглось, однако Стиву вполне искренне сочувствовали, и он продолжал рассказывать всем, кто слушал. Я тоже слушал, и не только потому, что наши вещалки в Сандауне были рядом и выбора у меня все равно не было, но еще и потому, что у нас были неплохие отношения.

— Они обчистили папину проявочную, — рассказывал он. — Просто все оттуда вынесли. Это же бессмысленно... я так полиции и сказал. Ведь они не взяли ничего такого, что можно было бы продать, вроде увеличителя или оборудования для проявки. Вместо этого они забрали все его работы, все фотографии, которые он снял за эти годы, все это пропало. И вот мама среди всего этого разгрома, и папа умер, и теперь у нее не осталось ничего из того, чему он посвятил всю свою жизнь. Ровным счетом ничего. И еще они забрали ее меховое полупальто и даже духи, которые папа подарил ей на день рождения, она даже не успела их открыть... Она просто сидела и плакала...

Он резко осекся. Проглотил комок в горле, словно это было слишком и для него тоже. Хотя он и не жил с родителями, в свои двадцать три года он все еще во многом оставался домашним ребенком, упрямо привязанным к родителям, что восхищает многих. Может, Джорджа Миллеса и ненавидели, но в глазах собственного сына он всегда был великим человеком.

Тонкий в кости, хрупкий, темноглазый, с оттопыренными ушами, Стив казался смешным. Он был очень нервным и впечатлительным. Если его что-то взволновало — пусть даже и не по такому чрезвычайному случаю, как сегодня, — он имел привычку без конца возбужденно это обсуждать.

— Полицейские сказали, что взломщики делают это назло, — говорил Стив, — переворачивают все вверх дном и крадут фотографии. Они сказали, хорошо еще,

что они нигде не нассали и не насрали, как часто бывает, и что ей надо радоваться, что они не переломали стулья и диваны и не исцарапали мебель. — Он все рассказывал новоприбывшим о случившемся, но я уже кончил переодеваться и вышел, чтобы участвовать в первом заезде, и до полудня забыл о взломе в доме Миллесов.

Это был день, которого я ждал целый месяц, хотя и старался не слишком заглядывать вперед. Сегодня Дэйлайт бежит в Сандауне на скачках с гандикапом. Большие скачки, хорошая лошадь, так себе соперники и высокие шансы на победу. Такие совпадения довольно редко выпадали на мою долю, так что было чему радоваться, но я предпочитал ничему не верить, пока не оказывался на дистанции. Как мне сказали, Дэйлайт прибыл целым и невредимым. Мне нужно было пройти без потерь только первый заезд, скачку для новичков, а тогда, возможно, я выиграю Большие скачки, и с десяток владельцев на уши встанут, только бы предложить мне своего фаворита для скачек на Золотой кубок.

Обычно моей нормой было два заезда в день, и если я заканчивал сезон в первой десятке, то я был на вершине счастья. Долгие годы я пудрил себе мозги насчет того, что я так мало достиг потому, что я выше и тяжелее, чем нужно для этой работы. Даже при постоянном голодании я весил где-то десять стонов² и еще семь кило или чуть меньше без одежды, и потому меня постоянно исключали из бесчисленных заездов, где вес жокея не должен был превышать десяти стонов. По большей части мне выпадали сотни две заездов в сезон, где-то в сорока случаях я побеждал, и я знал, что меня считали «сильным», «надежным», что я «хорош на препятствиях», но «на финише — не первый класс».

Большинство людей думают в молодости, что они обязательно дойдут до вершины мастерства и что

восхождение на эту вершину — лишь формальность. Думаю, не будь у них такой веры, они никогда бы и не начали. Где-то по дороге они поднимают взгляд и видят, что до вершины не доберутся. И тогда они находят счастье в том, что смотрят под ноги и наслаждаются тем, что имеют. Лет в двадцать шесть я смирился с мыслью о том, что дальше не продвинусь. Странно, это отнюдь не повергло меня в уныние, наоборот, я осознал это с облегчением. Я никогда не был слишком честолюбив, я просто хотел делать все как можно лучше. Если не могу лучше, так что ж, значит не могу, и все. Но все равно я не находил причин отказываться, если мне прямо-таки навязывали победителей Золотого кубка.

В тот день в Сандауне я закончил скачки для новичков без приключений («хорошо, но без вдохновения»), придя к финишу пятым из девятнадцати. Не так уж и плохо. Лучше у нас с лошадью все равно не получилось бы в тот день. Все как обычно.

Я переоделся в цвета Дэйлайта и пошел себе к паддоку, предвкушая радость грядущей скачки. Тренер Дэйлайта, для которого я скакал регулярно, ждал меня там вместе с владельцем лошади.

Владелец отмахнулся от моего бодрого приветствия насчет того, что как здорово, что дождь прекратился, и без обиняков начал:

— Сегодняшнюю гонку ты проиграешь.

Я улыбнулся:

— Если это будет в моих силах — нет.

— Пройграешь, — отрезал он. — Я поставил на другого.

Наверное, мне не удалось полностью скрыть гнев и гадливость. Он выделял такое и прежде, но уже года три, как вроде бы притормозил. К тому же он знал, что я этого не люблю.

Виктор Бриггз, владелец Дэйлайта, был крепко сбитым

мужчиной за сорок. Чем он занимался и кем он вообще был, я не знал. Нелюдимый, скрытный, он появлялся на скачках с ничего не выражающим, не улыбочивым лицом, говорил со мной мало. Он всегда носил тяжелое темно-синее пальто, черную широкополую шляпу и толстые черные кожаные перчатки. В прошлом он был отчаянным игроком на скачках, и, когда я скакал для него, выбор у меня был один — делать то, что он говорит, или потерять работу. Тренер Гарольд Осборн прямо сказал мне вскоре после того, как я к нему подошел, что, если я не сделаю того, чего хочет Виктор Бриггз, я буду уволен.

Я проигрывал для Бриггза скачки, которые мог бы выиграть. Но такова жизнь. Мне нужно было есть и выплачивать кредит за коттедж. Для этого мне нужна была хорошая большая конюшня, для которой я мог бы скакать, и если я уйду из одной, где мне давали шанс, то я попросту могу и не найти другой. Их не так уж и много, и, даже если не учитывать Виктора Бриггза, Осборн был очень даже прав. И потому, как многие жокеи в подобных щекотливых условиях, я делал то, что мне говорили, и помалкивал.

В самом начале, когда Виктор Бриггз предложил мне солидную сумму наличными за проигрыш, я сказал, что мне таких денег не надо: я проиграю, если придется, но не за деньги. Он сказал, что я молодой надутый дурак, но после того, как я вторично отказался, он стал держать свои деньги в кармане и свое мнение обо мне — при себе.

— Почему бы тебе и не взять? — сказал Гарольд Осборн. — Не забывай, что ты получишь на десять процентов больше, чем если бы ты выиграл. Мистер Бриггз просто возмещает тебе проигрыш, вот и все.

Я покачал головой. Он не настаивал. Я подумал, что я, может, и вправду дурак, но когда-то кто-то — не то Саманта, не то Хлоя внушили мне эту неприятную

убежденность в том, что за грехи придется расплачиваться. И после того, как я три с лишним года не сталкивался с этой дилеммой, меня еще более взбесило то, что я снова уткнулся в то же самое.

— Я не могу проиграть, — запротестовал я. — Дэйлайт — лучшая лошадь в конюшне. С ним никто даже в сравнение не идет. Вы сами знаете.

— Просто сделай так, — сказал Виктор Бриггз. — И говори потише, если не хочешь, чтобы распорядитель тебя услышал.

Я глянул на Гарольда Осборна. Он упорно смотрел на то, как лошади вышагивают по кругу, и делал вид, что не слышал слов Виктора Бриггза.

— Гарольд, — позвал я.

Он коротко мазнул по мне безразличным взглядом:

— Виктор прав. Ставки сделаны на другого. Ты будешь стоять нам кучу денег, если выиграешь. Значит, не выигрывай.

— Нам?

Он кивнул:

— Нам. Это правда. Упади, если придется. Проиграй секунду, если хочешь. Но не приходи первым. Понял?

Я кивнул. Я понимал. Снова в те же тиски, как три года назад.

Я повел Дэйлайта рысью к старту. Жизнь, как и прежде, наступала на горло возмущению. Если я не мог себе позволить потерять работу в двадцать три, тем более не могу в тридцать. Меня знали как жокея Осборна. Я семь лет на него работал. Если он вышвырнет меня, то ничего, кроме такой же рутины, в другой конюшне я не добьюсь. Буду скакать во вторую очередь вместо других жокеев и покачусь к забвению. Он ведь не скажет прессе, что избавился от меня потому, что я не хочу больше проигрывать по приказу. Он скажет им (конечно же, с сожалением), что ищет кого-нибудь помоложе... что ему приходится делать то,

что лучше для хозяев лошадей... чертовски жаль, но карьере любого жокея приходит конец... конечно же, печально, и все такое прочее, но время-то идет, куда же денешься?

«Будь все проклято», — подумал я. Я не хотел проигрывать эту скачку. Мне гадко было играть нечестно... и десять процентов, которые я потерял бы на этот раз, были достаточно большой суммой, чтобы разозлить меня еще сильнее. Какого хрена Бриггз вернулся к своим делишкам спустя столько времени? Я-то думал, что он завязал, поскольку я довольно много достиг, работая на него как жокей, чтобы понять, что я, скорее всего, откажусь. Жокей, который стоит достаточно высоко в списке победителей, был избавлен от подобного давления, поскольку, если в его конюшне сгруппят и выпихнут его прочь, его тут же с распростертыми объятиями примут в другой. Может, он думал, что я уже прошел пик формы, поскольку стал старше и теперь снова оказался под угрозой остаться без работы.

Мы шагали по кругу, пока судья на старте зачитывал список участников. Я с опаской смотрел на четырех лошадей, которых ставили против Дэйлайта. Среди них не было ни одной стоящей. Ни одной, что хотя бы на бумаге могла обойти моего могучего мерина, именно поэтому зрители сейчас ставили четыре фунта на Дэйлайта, чтобы выиграть один.

Четыре к одному...

Отнюдь не рискуя собственными деньгами при таких шансах, Виктор Бриггз тихой сапой шел на пари с другими и будет вынужден платить, если его лошадь выигрывает. Кажется, и Гарольд тоже, — однако я чувствовал, что кое-чем обязан Гарольду.

После того как я семь лет проработал с ним, наши отношения стали более тесными, чем простое сотрудничество тренера и жокея. Я стал относиться к

нему если не с теплотой, как к близкому другу, то, по крайней мере, весьма по-приятельски. Он был человеком, полным страстей и обаяния: то впадал в черную депрессию, то взлетал на вершину буйного красноречия, то тиранствовал, то был щедр. Он мог переорать и перематерить любого в Беркшир-Даунсе, и конюхи с тонкой душевной организацией толпами бежали от него. Когда я впервые скакал для него, его бурное восхищение моей ездой было на полной громкости слышно от Уэнтеджа до Суиндона, а сразу после этого и у него дома, когда он откупорил бутылочку шампанского и мы выпили за наше дальнейшее сотрудничество.

Он доверял мне всегда и полностью, и отстаивал меня перед критиками, что сделал бы не каждый тренер. У каждого жокея, рассудительно говорил он, бывает черная полоса, и, когда в такую полосу попадал я, он всегда давал мне работу. Он считал, что я, со своей стороны, буду полностью предан ему и его конюшне, и в последние три года ему легко было так думать.

Судья вызвал лошадей на старт, и я развернул Дэйлайта мордой в нужную сторону.

Старт-машин не было. Для скачки с препятствиями их не используют. Вместо них — эластичная лента.

В холодном злом унижении я решил, что скачку ради Дэйлайта надо бы закончить как можно ближе к старту. Когда на тебя устремлены тысячи биноклей, телекамеры и камеры слежения, когда пронырливые ребята из прессы только на тебя и смотрят, проиграть в любом случае трудно, и, если я сойду с дистанции, когда будет ясно, что Дэйлайт выигрывает, это будет равно самоубийству. А если я просто упаду на последней полумиле, начнется расследование и я могу потерять лицензию. И мне не будет легче от осознания того, что сам это заслужил.

Судья положил руку на рычаг, лента взлетела вверх, и

я послал Дэйлайта вперед. Никто из остальных жокеев не захотел возглавить скачку. Мы тронулись медленно, один за другим, отчего мои тревожания только усилились. Дэйлайт никогда не споткнется ни у одного препятствия. Он всегда стабильно прыгал и вряд ли падал хоть раз. Некоторых лошадей никак не подведешь как надо к препятствию — Дэйлайта невозможно было подвести неправильно. Все, что ему было нужно, так это малейший знак жокея, а остальное он делает сам. Я много раз скакал на нем. Выиграл с ним шесть скачек. Я хорошо его знал.

Обмануть лошадь. Надуть публику.

Надуть.

«Будь все проклято, — подумал я. — Проклятье, проклятье и проклятье».

Я сделал это у третьего препятствия, на склоне у вершины холма, на крутейшем повороте, на пути от трибун. Это было лучшее место, поскольку под таким углом зрители мало что заметили бы, на подъеме при подходе к препятствию — у него в этом году многие падали.

Дэйлайт, сбитый с толку моими неверными посылами и, вероятно, почуяв каким-то телепатическим образом, как все лошади, мое беспокойство и гнев, начал сбиваться с аллюра еще до прыжка и сделал лишний рывок там, где его вообще не нужно было.

«Господи, — думал я, — малыш, я страшно виноват, но ты упадешь, если я сумею». И я послал его в неверный момент, чуть жестче, чем надо, натянув повод, когда он был уже в прыжке, и перенес вес на переднюю часть его плеча.

Он неуклюже приземлился, слегка споткнулся, опустил голову, чтобы выправить равновесие. Этого было недостаточно... но он должен был упасть. Я быстро вынул правую ногу из стремени и упал ему на спину так, что полностью сполз ему на левую сторону, съехал